

МИХАИЛ ЛИФШИЦ

Разговор с чертом

Михаил Александрович Лифшиц (1905—1983) — доктор философских наук, действительный член Академии художеств СССР. Выдающийся философ-марксист, он был другом и соратником Г. Лукача и А. Твардовского, автором памфлетов, в которых с вольтеровской язвительностью и остроумием бичевал как пустозвонство официальной советской идеологии, так и двоемыслие того либерализма, который был обратной стороной того же самого пустозвонства.

Ниже публикуется незаконченный памфлет Мих. Лифшица с комментариями: об истории создания памфлета делится своими воспоминаниями Л. Н. Столович, а В. Г. Арсланов рассматривает этот памфлет в контексте митингов «За честные выборы». Текст для настоящего издания исправлен и дополнен по оригиналу, хранящемуся в архиве Мих. Лифшица.

Публикация В. М. Герман, А. М. Пичикийн и В. Г. Арсланова.

I

Недавно, роясь в пыли книжного магазина, я услышал за спиной чей-то голос:

— Нет ли у вас Бердяева? Сонная продавщица ответила, что таких авторов у них нет, а я заинтересовался любителем философии — интересно все же взглянуть на человека, который не Гоголя и Белинского, а Бердяева с базара понесет. Наверно, какая-нибудь старая крыса, если не привидение с того света.

Я обернулся и увидел молодого человека в том нежном возрасте, когда усы едва пробиваются над верхней губой. Это меня озадачило. Вы понимаете, что я никому не хочу запретить чтение Бердяева¹. Вот, например, Маркс и Ленин читали авторов разных направлений, в том числе и самых реакционных, а здоровы были. И никто, даже в самые смутные времена, не осмелился внятно сказать, что они делали это потому, что были далеки от народа. Я не могу также устанавливать правила — кому и в каком возрасте разрешается читать то или другое. Ведь я не законодатель платоновской «Республики», в которой даже любовь между мужчиной и женщиной допускалась только по выбору особых должностных лиц.

Но все-таки, понимаете, странно. Много ли этот молодой человек успел прочесть из того, что гораздо ближе к его действительной, а не воображаемой личности? Зачем же ему Бердяев — старый недруг русской революции, участник реакционного сборника «Вехи», один из основателей религиозного экзистенциализма и прочая, и прочая? Тут что-то не ладно. И я позволил себе нескромность

¹ Философию Н. А. Бердяева Мих. Лифшиц называл «парфюмерной»: много красивых слов о духовной свободе, но при этом в разгар Первой мировой войны Бердяев, например, мог написать такие слова: «Дело идет о мировом духовном преобладании славянской расы. Мне неприятен весь нравственный склад германца...» (Н. А. Бердяев. Судьба России. М., 1990. С. 182). *Здесь и далее — примечания составителей.*

спросить об этом. Боже мой! Вместо ответа молодой человек отбросил меня на исходные позиции ледяным взглядом, полным глубокого презрения. В одну минуту я почувствовал себя троглодитом, далеко отставшим от развития современной мысли.

Само собой разумеется, что такое поведение молодого человека, оскорбившего в моем лице старшее поколение, мне не понравилось. Я начал мысленно кричать на него и топтать ногами. Я ставил ему в пример героическую юность Октябрьской революции, припомнил даже слова моего друга, служившего в Богунском полку²:

— Подумать только, когда я лежал в госпитале с перебитой спиной и прочел в «Азбуке коммунизма», что вода при ста градусах путем скачка превращается в пар, чему я так обрадовался, ты не знаешь? Да, были люди в наше время. Они готовы были, кажется, умереть за то, что вода превращается в пар. Наивные люди, но сколько благородного энтузиазма было в этой наивности. А вы-то, нынешние, больно поумнели! С чего это вас на Бердяева потянуло?

Так я кипел, переживая обиду и стараясь получше устроиться в тачанке прошлого. Но здесь мне пришла в голову мысль, что кривые побеги этого молодого растения бросают тень и на меня. Если говорить об ответственности, то где же я был, когда оно принималось расти? Да и смешно ругать стихийные явления — от этого мало бывает пользы. Ну что, например, будет, если я скажу: «Ах ты, сукин сын, дождь! Зачем идешь не вовремя. И без тебя грязно». Ругательствами делу не поможешь.

Однако молодой человек во цвете лет это не дождь, а живое существо — личность, обладающая сознанием. Пусть так, но и живые существа могут действовать стихийно, как явления природы, на чем основаны все теории моделирования мозга и тому подобное. А если мы сами не хотим остаться только природой, «комком реагирующей протоплазмы», как назвал человека основатель американского бихевиоризма Уотсон, то надо, по крайней мере, избегать стихийной реакции и понимать причины.

Какие же тут могут быть причины? Я постарался вспомнить физиономию молодого человека. Лицо как лицо. Ничего демонического в нем не замечалось — ни черных пронзительных глаз, ни крючковатого носа. Глаза, наоборот, голубые, волосы светлые. На ногах, правда, узкие брючки, но кто же теперь носит широкие? По внешнему виду это скорее всего студент или молодой рабочий из тех, которые занимаются в литературных кружках. Я не думаю, чтобы он был княжеского происхождения или принадлежал к потомкам фабрикантов. В его родословной деревня была еще видна.

Читает ли этот молодой человек газету «Нью-Йорк таймс» или журналы «Лайф», «Тайм», «Ньюс-уик»? Быть может, он извлекает свои настроения из этих популярных органов буржуазной печати? Думаю, что нет. А если допустить, что ему знакома эта литература, что из того? Разве буржуазная пропаганда так сильна? Почему этот юный продукт советского воспитания должен иметь такую хрупкую идеологию?

И тут меня осенило. А что если к этому делу имел отношение Гвоздили́н? Похоже, право похоже. Гвоздили́н — мой старый знакомый, я помню его чуть ли не с первых лет нашей истории. Уж если Гвоздили́н за что возьмется — никто не устоит. Бердяеву лучшего помощника не надо.

² И. А. Сац, участник «течения» 1930-х годов, член редколлегии «Нового мира» при А. Твардовском, литературовед, переводчик, друг Мих. Лифшица.

— Да кто такой Гвоздилин? Вы его знаете, а нам до него дела нет.

— Ошибаетесь, вам есть дело до него и ему до вас. Вот, например, недавно я читал трагическую историю рек. Ведь это Гвоздилин проводит в жизнь губительный проект осушения пойменных земель, заставляя плакать тысячи взрослых людей. Там, где ступал сапог Гвоздилина, трава не растет. Газетные фельетоны каждый день рассказывают о нем новые забавные истории. Они сообщают также, что Гвоздилин предупрежден или получил выговор. Теперь вы знаете, кто такой Гвоздилин. Если по радио льется пошлость на самых высоких тонах и в таком количестве, что ее хватило бы для целой галактики, если все это может вызвать отвращение к любым идеям, ищите Гвоздилина. Пусть ему дадут выговор или, по крайней мере, укажут на его недостатки.

Представьте себе, что науку о превращении воды в пар читает *ex cathedra*³ сам Гвоздилин, а молодой человек, встреченный мною в книжном магазине, является его слушателем. Это вполне возможно. Гвоздилин лекции читает — значит, кто-то обязан их слушать. Он книги пишет — значит, у него и читатели. Интересно, что с ними будет? Я думаю так: из пяти случайно выбранных экземпляров один соблазнится лаврами своего учителя и пойдет по его стопам. Это — не лучший из пяти. Трое других махнут рукой на всякие идеи и найдут утешение в своей специальности. Ну а последний? — Он пойдет в церковь или будет искать Бердяева. Что-нибудь в этом роде неизбежно.

Есть украинская поговорка: «На зло моей матери видрижу собі нос — нехай у моей матери буде дочка без носа». Можно ругать или жалеть дочку без носу, ну а маты, что же, выходит, ни при чем? Все это, конечно, игра случая, теория вероятностей. В другой пятерке может оказаться лучшее распределение. Найдутся такие засухоустойчивые особи, которые поймут объективную верность и обаяние марксистского мировоззрения даже вопреки Гвоздилину, глядя вперед, как бы сквозь прозрачное тело. Но согласитесь, что мы предъявляем в данном случае самые серьезные и высокие требования.

Каждый солдат должен знать свой маневр, сказал Суворов. Итак, в чем должен состоять мой маневр перед лицом описанной ситуации? Я мог бы, например, взяться за критику Бердяева. Нетрудно доказать, что увлечение Бердяевым — дело нестоящее, что мысли, развитые этим изящным поклонником Средневековья, это даже не мысли, а скорее умные или просто умственные позы, что они относятся к реальному содержанию нашей головы, как бравурные ариозо Фарлафа к настоящей храбрости. Я могу утверждать это, во-первых, потому, что это верно, и, во-вторых, потому, что я так думаю, таково мое убеждение.

Но представьте себе, что мне пришлось бы в голову взяться за критику Бердяева. Молодой человек, встреченный мною в книжном магазине, долго разбираться не будет. Он тотчас же смешает меня с Гвоздилиным. Уже само намерение покажется ему оскорбительным:

— Воспитывать меня хочешь? Как бы не так — я не глина, чтобы из меня горшки лепили. Я сам по себе!

Одному лектору принесли записку: «Не вкусив от древа познания, нельзя вкушать и от древа жизни, и я не хочу, чтобы кто-то вкушал и дегустировал за меня». Бывают такие времена, когда желание лично дегустировать все растущее на древе познания не так бросается в глаза и уступает место другому чувству. В такие эпохи люди, и молодые и старые, больше всего на свете хотят быть одинаковыми,

³ С кафедры (*лат.*), то есть непрерываемо, авторитетно. Первоначально имелась в виду церковная кафедра в Риме, откуда папы выступали с посланиями (энцикликами).

цельными, простыми, далекими от всяких сомнений. Вспомните времена «энергично функционирующих кожаных курток». Добровольного пламенного догматизма было тогда сколько угодно. А люди более других изысканные — те прямо старались покончить с избытком знания, чтобы покрепче вкусить от древа жизни. Для этой цели между прочим боролись против психологических тонкостей в искусстве во имя грубой буффонады, писали утонченно-вульгарные агитки и всячески «обнажали свой прием». Им и не снилось, что это их самоотречение в пользу мнимой или действительной коллективности будет когда-то рассматриваться как проявление крайней свободы творчества. Само слово «свобода» было бы ими встречено презрительной усмешкой.

Когда волна бьет в эту сторону, вы не остановите ее своими критическими соображениями. Но времена меняются, и мы живем в эпоху, когда посредствующих звеньев на свете мало, и все приобретает характер «безудержа», иногда просто карамазовского. Таким образом, получается, что одна и та же социальная энергия рождает теперь желание все дегустировать по-своему, и с этим фактом также необходимо считаться.

— Однако существуют истины вполне достоверные и прочные, не так ли?

— Так. «Дело прочно, когда под ним струится кровь», — сказал поэт, а крови уже пролито немало. Я думаю, что истины марксизма, вообще говоря, не нуждаются в новой проверке, но... вообще ставить вопрос нельзя.

— А конкретно?

— Конкретно выходит так, что, если я хочу сократить расходы на всякие новые дегустации, ибо расходы могут быть велики, мне надобно прежде всего отмежеваться от Гвоздилина. Другого пути нет. И не потому, что, раз смешав меня с Гвоздилиным, сей юный, но придирчивый сын века не станет нас обоих слушать или читать, а если прочтет, то с таким предубеждением, которое может увести его бог знает куда. И получится, что я своими руками буду содействовать глупой моде, успеху вредных и реакционных идей. Ведь идеи, как сказал один французский писатель, похожи на гвозди — чем больше по ним колотишь, тем глубже они входят. Вот почему я должен отмежеваться от Гвоздилина.

Да, но что из этого выйдет? Если сказать все, что я о нем думаю, не будет ли это слишком? И не подхватит ли мои слова нечистая сила? Всякое ликвидаторство, всякая арьергардная тактика, делающая уступку за уступкой ходячим идеям-вирусам буржуазного мышления, мне глубоко противны. Если молодой человек, испорченный Гвоздилиным, бросается на блестящую дрянь, как рыба на крючок, это еще можно понять. Мне же искать выхода посредством лести толпе — не той старой толпе, которая по римскому обычаю кричала Калигуле: «Ты наше солнышко!», а той новой толпе, которая задним числом показывает ему кукиш, было бы грязно. Пусть уж этим сам Гвоздилин занимается. Я совершенно уверен в том, что он сумеет найти форму приспособления. Внутренне я уже вижу, как он расширяет марксизм до Бердяева включительно, клянется Пикассо и, самое главное, преследует узкие души, неспособные вместить всю широту современности.

В общем, дело запутанное, хуже, чем с травосеянием. Вот почему мне становится грустно при одном взгляде на перо и бумагу. Не осуждайте меня за робость, вспомните лучше деда из «Заколдованного места» Гоголя:

— Да тут страшно слово сказать! — проворчал он про себя.

— Тут страшно слово сказать! — пискнул птичий нос.

— Страшно слово сказать, — заблеяла баранья голова.

— Слово сказать, — рявкнул медведь.

II

Для проницательного читателя я хотел бы заметить, что эти беспорядочные мысли выражают мое настроение по выходе из книжного магазина — не более. Я отвечаю за них лишь частично, как автор литературного произведения отвечает за речи своих героев. Правда, должен признаться, что настроение мое в этот момент оставляло желать лучшего. Я шел по Ленинскому проспекту, и черные мысли клубились в моей голове, как дым из трубы крематория. Заметив эту минутную слабость, враг рода человеческого шептал мне на ухо слова, полные лжи и коварства.

— Оставь свои заботы! Что значит твой жалкий голос среди шума и грохота этой дьявольской мельницы? Ведь все положения в механизме современности уже заранее определены, и скажи ты хоть слово, тебя немедленно отнесет или к Гвоздилину, или к его антиподам, и не забудь при этом, что они друг друга лучше поймут, чем юный искатель правды, блуждающий между древом познания и древом жизни, поймет твои действительные намерения. В лучшем случае ему придет в голову, что ты хочешь сесть между двух стульев.

— Да, голубчик, предупреждаю тебя, что так и будет. Ты никого не удовлетворишь, а заслужить обвинение в гордости очень легко. Даже друзья будут относиться к тебе с легкой иронией. К чему этот резкий голос, эта преданность старой вере? Будь хоть поклонником Конфуция или Пикассо, но говори то, что принято говорить, — выбора нет, зато попугаи живут долго.

— А порядочным человеком можно быть, даже не сражаясь с ветряными мельницами. Взгляни на порядочных людей — они никогда ни в чем не принимали участия, потому и порядочные. На свете много чистых занятий, выбери любое и возделывай свой сад. Чем специальное будет твое занятие, тем чище — тем меньше опасность наткнуться на что-нибудь грязное. Положим, ты изобретаешь техническую деталь: быть может, она пригодится для подслушивания разговоров или для поджигания хижин. Но не тебе решать, пойдет ли твое изобретение на пользу добру или злу. Все это так далеко от нас. Кто-то другой берет на себя твое бремя, снимает с тебя моральную ответственность. Тебе остается только изящество формулы и авантюрный дух исследования. Боже мой, разве этого не достаточно для человека? А в свободное время ты можешь пожить и для души. Почему бы тебе не изучить древнескандинавский язык, если не хочешь забивать «козла»? Ты можешь собирать картины Фешина или репродукции с Модильяни. Люди живут собиранием спичечных коробок — и не жалуются.

По правде сказать, я даже вспотел, мне стало не по себе от этой идеологической диверсии. Не помню, как я оказался в метро, проехал несколько остановок и направился к выходу. Только грозная надпись «Выхода нет» вернула меня к действительности.

— Вот, значит, как... Поп свое, черт свое, а доброму человеку уже и податься некуда. Врешь нечистая сила! Вот я тебе сейчас прижму хвост, и будешь ты у меня знать, что безвыходных положений не бывает.

С этими словами я нарушил правила движения и быстро поднялся по лестнице, пробивая себе дорогу сквозь толпу равнодушных людей, спешивших вниз. Это меня оживило. Выйдя на бульвар, я понял, что жизнь продолжается. Гигантский термоядерный котел, именуемый солнцем, кипел по-летнему. Щедро обрызганная его лучами зелень сияла как тысячи лет назад. Дети возились в песке. На лавочках сидели пенсионеры, мирно беседуя о культе личности. Все кругом дышало спокойствием, как будто физики еще не разложили

ядро урана. Я выбрал свободную скамейку и открыл книгу. Это был томик Достоевского.

Книга открылась на разговоре Ивана Карамазова с чертом. Ну что ж, думаю, сюжет подходит, и стал с удовольствием вычитывать все ругательства, которыми герой Достоевского награждал своего привязчивого собеседника. Вы заметили, наверное, что Достоевский у нас теперь модный классик. В нем открыли нечто музыкальное — полифонию и контрапункт. Не потому ли, что все у нас идет *punctum contra punctum*⁴, так что каждому нынешнему увлечению можно отыскать в недавнем прошлом его прообраз с обратным знаком? Бывало... Но зачем вспоминать? Теперь вот все пишут книги о Достоевском. Иной пытливый ум самой природой предназначен писать одни заявления, а тоже, смотришь, несет читателю книгу о Федоре Михайловиче. И вот подлость мироздания! — выходит, что и в этой книге окажется что-нибудь дельное.

Итак, я погрузился в чтение «Братьев Карамазовых», наслаждаясь творческой дискуссией между братом Иваном и его собственной тенью или, как теперь принято говорить, его «отчуждением».

— Лакей, приживальщик, дурак, ты моя галлюцинация, ты глуп, ты ужасно глуп, не философствуй, осел!

Моя позиция в этом споре определилась с первых шагов — как человек, я сочувствовал человеку. Мне кажется, я сам видел эту пошлую улыбку на добродушной складной физиономии господина или, лучше сказать, известного сорта русского джентльмена из «бывших», который привиделся Ивану накануне его острого заболевания белой горячкой. Да, я сам видел эту физиономию, готовую, как сказал Достоевский, судя по обстоятельствам, на всякое любезное выражение. Я так же чувствовал себя оскорбленным этой плоской иронией с оттенком снисходительного внимания в ответ на бешенство Ивана. Черт был исполнен гуманности и заботы о человеке, а человек ни за что не хотел этого принять.

— Не философствуй, осел! Ни одному твоему слову я не верю. Как можно с таким мефистофельским видом нести пошлые фразы времен «Биржевых ведомостей»? С твоей претензией на оригинальность во всех этих антимирах ты удивительно однообразен. В конце концов, если освободить тебя от мнимой новизны, останется мещанин образца 1912 года. Ты проповедуешь домашние добродетели, якый ты к черту лыцарь!

Все это я прибавил, конечно, уже от себя, а последнее даже заимствовал из письма запорожцев турецкому султану. Гневные реплики Ивана Карамазова перекликались с моими собственными мыслями, и все это совершенно поглотило мое внимание. Между тем, послышался странный шум, похожий на шипение и щелканье испорченного телефона. Я не сразу понял, что этот шум несет в себе какую-то информацию, однако тут выскочили отдельные слова и, по прошествии некоторого времени, быть может, очень малого, до меня наконец дошло, что кто-то со мной разговаривает.

— Вот ты все дураком ругаешься, а сам ходишь в кабак проповедовать трезвость. Разве я тебе не доказал, что брать на себя ответственность за чужие грехи, по меньшей мере, глупо? Не говорю уже о том, что эти волнения страшно вредны для сердечно-сосудистой системы. Неужели тебе недостаточно старой войны с Гвоздилиным? Ты хочешь теперь пострадать от либералов? Ну что ж, те и другие охотно почтут твою память вставанием.

⁴ Точка против точки (*lat.*), контрапунктический тип композиции.

Я поднял голову и увидел, что рядом со мной на скамейке сидит гражданин среднего возраста, а по нашим теперешним понятиям — из молодого поколения, одним словом — лет сорока или, может быть, больше, под пятьдесят, «qui frisait la cinquantaine»⁵, как говорят французы. Откуда он здесь взялся, честное слово, не помню. Я даже вздрогнул от неожиданности.

— Вы, кажется, что-то сказали? — спросил я.

— Во-первых, можешь говорить мне «ты», ведь мы с тобой старые знакомые. А во-вторых, я просто отвечаю на твои мысли.

— Привет! Откуда вы знаете мои мысли? Вы меня разыгрываете или, может быть, у вас там детектор в кармане? Вы этим занимаетесь?

— Значит, не узнаешь, — сказал он, горестно качая головой.

— Нет.

— А помнишь горящий Льгов?

— Ну, помню, дальше что?

— А помнишь, в тех краях станция стояла? Вся такая кудрявая, из дерева вырезанная, наверное, еще при Александре III строили. Утром стояла станция, а вечером — ничего, бритое место. Местное население все разнесло — по винтику, по бревнышку.

Какое-то смутное воспоминание пронеслось в моей голове. Это было в конце 1941 года.

— А мы ведь с тобой говорили об этом. Помнишь, на грузовике ехали километров пятьдесят прямо по шпалам. Иначе не проехать — спереди наши уходят, сзади немцы наступают, грунтовая дорога минирована. Помнишь, еще скотина местами лежала побитая. Остался только железнодорожный путь, а рельсы уже сняты — вот мы и катили по шпалам. Ну и езда, я тебе скажу, до сих пор внутренности болят.

— Да, что-то было.

— Так вот, в кузове машины мы с тобой и разговорились о судьбе этой станции. Ты говоришь: им велели не оставлять ничего врагу, они и разобрали — все правильно. А я еще тебе сказал: все-таки не без удовольствия тащили. Когда еще такое счастье выпадет? Тут и патриотизм, и ломать можно, да и в своем углу что-нибудь пригодится. А ломать у нас любят. Помнишь, я тебе песню привел: «Некому березу заломати». А зачем ее, собственно, ломати? Да уж надо. Как это она просто так стоит? Непорядок, ей самой обидно будет. Ну разве немцы такое поймут? А мы понимаем. Кажется, я тебе даже сказал — это у нас от дьявола.

— Смотри-ка! Вспомнил, честное слово. Ты тогда майор был, так что ли?

— Точно.

— Однако ты здорово сохранился, выглядишь молодо.

— Мы не стареем.

— А как же ты меня узнал?

— Мы с тобой не один раз встречались. Помнишь, нам как-то нужно было лететь из Казани в один маленький городок на Каме — вот как раз тот, о котором, кажется, Горький сказал «не достать руками, не дойти ногами». Зима, железной дороги нет. Ходим мы с тобой на аэродром за несколько километров, а начальник нас вежливо провожает — сегодня полетов нет, погода нелетная, машины в

⁵ Под пятьдесят (*фр.*).

ремонте. Ты все кипел и под конец не выдержал, нагрубил. А он, зная свою силу, так, с улыбочкой, издевается: не вы, мол, а я отвечаю, если мясорубка выйдет, не на чем мне вас переправить!

— Да, помню. Но позволь, разве мы с тобой ходили? По-моему, это был другой, тот, кажется, из Волжской флотилии, в морской шинели.

— Форма одежды роли не играет. Так шли мы с тобой обратно в город и все спорили. Ты горячился, руками размахивал — бюрократов и взяточников ругал, а я тебя успокаивал. Помнишь мои аргументы? Социализм без блата невозможен. Раз на все существует два порядка — этому положено, другому нет, значит, в промежутке обязательно заведется нечто. Да это и хорошо, что заведется, — смягчает трение. По закону прожить нельзя, поправка нужна — без этого дела и поросенка не воспитаешь. Так нам классическое наследие говорит, опыт громаднейший. Вот у Островского в «Горячем сердце», если еще не забыл, Градобоев объясняет купцам: Как же мне вас теперь судить? Ежели судить по законам, то законов у нас много... Сидоренко, покажи им, сколько у нас законов. Вон сколько законов, и законы все строгие. Сидоренко, убери на место! Так вот, друзья любезные, судить ли мне вас по законам, или по душе? — Суди по душе, будь отец, Серапион Мардарыч! И правильно — по-хорошему надо.

Я молчал, подавленный этой болтовней, которая, разумеется, вызывала у меня боли со стороны поджелудочной железы. Но я не знал, что сказать, так как само появление этого гражданина, с его претензией на роль старого знакомого, казалось мне достаточно странным. Между тем у меня не было никаких показаний к белой горячке.

— А то вот еще, если помнишь, мы встретились в самом конце «L'ancien Regime»⁶ покойного отца родного и корифея науки, встретились именно в коридоре академии каких-то наук. Мы долго говорили с тобой, и между прочим о том, каким образом тебе удалось уцелеть в такое-то время, уцелеть от опасности более верной, чей немецкая пуля.

— Ну вот, — стал бы я говорить с тобой о таких вещах!

— Однако же говорил. Бывает и с более осторожным, чем ты. Напомню тебе, если хочешь, что ты мне развил целую теорию на этот счет. Ведь вашему брату только дай случай развить какую-нибудь теорию — вы и готовы, не удержитесь. Будто бы меч несправедливости прошел над твоей головой лишь потому, что ты никогда не поднимал ее слишком высоко, никогда не стремился к преимуществам силы, не цеплялся за эскалатор, идущий кверху. Тщеславие друг мой, пустое тщеславие! Я тебе объяснил действие законов случая, который завтра может втянуть тебя в другую букву своей алгебраической формулы. Вот и все! Ты жил просто по недосмотру. В России всегда деспотизм ограничен беспорядком, это у нас неписаная конституция, которая действовала и в сталинские времена. Помнишь, в начале войны один боец сказал: «немцы погибнут от нашей дезорганизации». Действительно подходят к укрепленной линии — никого, и вдруг беззащитный город на маленьком клочке земли, отрезанный от тыла водой, — тут упорное, страшное сопротивление. Но я бы сказал более широко — все в этом мире основано на беспорядке. То, что вы называете порядком, организацией, чем-то, понятным вашему бедному разуму, есть лишь небольшое отклонение от беспорядка, в котором все направления равны, все

⁶ Старого порядка (*фр.*).

безразлично. Эта бесконечная дезорганизация рано или поздно должна поглотить мелкие очаги вашего сопротивления в этом мире. Поражение обеспечено.

— Пожалуйста, не читай мне популярных лекций по кибернетике. Все это я нашел у Норберта Винера и гораздо раньше у Демокрита, который жил две тысячи лет тому назад. Скажи лучше, кто ты такой и что тебе от меня нужно?

— Неужели до сих пор не догадался? Я тот, кого никто не любит и все живущее клянет. Впрочем, это определение совершенно устарело. В буржуазную эпоху черт имел классово-ограниченные черты. Он был узким индивидуалистом. В наши дни он живет в коллективе, идет впереди прогресса, творит добро, не впадая, конечно, в абстрактный гуманизм.

Вы понимаете, что услышать такое даже среди бела дня немного страшно. Даже если предположить, что собеседник сбежал с Канатчиковой дачи.

— Так ты черт! — сказал я и засмеялся деланным смехом.

Но мой собеседник явно обиделся.

— Я так и знал, что ты не в состоянии этого понять по своей закоренелой марксистской тупости. Ты думаешь, конечно, что я не существую, что я плод воображения, в лучшем случае твоя галлюцинация, по словам Ивана Карамазова. Отстал, голубчик. Догматизм, чистейший догматизм! Ты, наверное, из тех, которые отрицали кибернетику, ты просто даже газет не читаешь!

Но я хочу ответить врагу рода человеческого:

— Врешь, проклятый сатана, чтоб ты не дождал детей своих видеть! Хоть ты и одет по моде, хоть сам сорочинский заседатель тебя не узнает, а мне твои слова все равно сор, дрязг... стыдно сказать, что такое. Не стану я слушать твои пошлые речи, потому что все разумное действительно.

Многие еще не забыли формулу Гегеля: «Все действительное разумно». Некоторые помнят даже, что Фридрих Энгельс придал ей материалистическое и революционное истолкование. Менее известна другая, обратная сторона формулы Гегеля: «Все разумное действительно». Что это значит? Это значит, что всякая мысль невидимой нитью связана с реальным ходом жизни. Голос разума — это голос жизни, диктат действительности. И ничто его не заглушит, не исковеркает страхом или насмешкой — ни птичий нос, ни баранья голова, ни грозный медведь. Как существует закон сохранения материи, так в области мысли ничто действительно мыслимое не пропадет, как бы ни казалось оно слабым, ничтожным, уступающим силе и коварству, и злоупотреблению.

Да, мысль не бессильна, вопреки мнению другого немецкого философа, жившего уже в наше время, создателя формулы «бессилие духа»⁷. Все это прекрасно, все это хорошо. И хорошо, что ты веришь в разум и знаешь, что нет безвыходных положений в истории, что все перетрется — мука будет. Но если я ничего конкретно не делал, то все это только доказательство того, что я хороший, а кому это интересно? Что же все-таки делать?

Как сделать, чтобы меня не зачислили в разряд современных модников, считающих марксизм устаревшей схоластикой? Будьте покойны, Гвоздилин не дремлет — ведь речь идет о его кровных интересах. Он тотчас же объяснит, что к чему, и получится, что я работаю, по крайней мере, на советский отдел «Нью-Йорк таймс».

⁷ Возможно, имеется в виду К. Ясперс. См. также **W. Szilasi**. *Macht und Ohnmacht des Geistes*. Bern, 1946.

Значит, боитесь? — Боюсь, но не так как вы думаете. Кто прожил большую часть жизни в те суровые времена, когда привычка стоять на своем была связана с опасностью часто смертельной, тот не будет жаловаться на подводные камни в наши свободные творческие дни. Почему бы мне не высказать свое мнение — что от этого изменится? Но примите во внимание, что я принадлежу к той школе, которая оценивает каждое слово не по его номинальной стоимости, а по действительному значению сказанного. Значение это может зависеть от привходящих обстоятельств.

Мой собеседник как-то ощерился, в его глазах блеснул знакомый мне огонек.

— Гвоздили! — воскликнул я с ужасом и какой-то радостью. Все показалось мне сразу более знакомым, простым и ясным.

Кто-то упорно тряс меня за плечо.

— Гражданин, поезд дальше не пойдет. Освободите вагон!

Оказывается все это было со мной в полусне. На минутку я сбился с пути, мне даже показалось, что мир — это только наше представление. Я проехал свою остановку и находился на станции «Первомайская».

Я пришел домой и долго думал, как мне *отреагировать* на эту встречу. В самом деле, как мне отреагировать? И, так как никаких средств для наведения порядка в мире у меня нет, может быть, к счастью для этого мира, и, во всяком случае, к счастью для меня, то я решил писать книгу о Достоевском.

[Приходит черт в образе черносотенца⁸]

(На этом рукопись обрывается)

⁸ По словам вдовы Мих. Лифшица Л. Я. Рейнгардт, именно так завершался этот памфлет.

К истории создания памфлета

Текст, который публикуется под наименованием «Разговор с чертом», автор этих строк слышал в чтении самого Михаила Александровича в 1964 году. Он его читал у себя дома Нине Николаевне Козюре и мне. Притом могу сказать с полной определенностью: то, что читалось М. А., было не фрагментом, а законченным эссе. Наряду с ним он прочел нам еще и другое эссе. Я не помню сейчас его названия, но запомнил некоторые включенные в него элементы. Там вначале речь шла о статье, кажется, в «Литературной газете», писателя Н. М. Грибачева, имевшего одиозную репутацию глашатая официальной идеологии, статье, неожиданно направленной против не менее одиозной фигуры борца с «враждебными взглядами» («космополитов», «субъективистов», «формалистов» и пр.) И. Б. Астахова.

Статья Грибачева называлась «Коза на привязи». Михаил Александрович, видимо, руководствуясь словами Ленина «когда один идеалист критикует другого, от этого выигрывает материализм», совершенно обдуманно (он мне говорил об этом) Грибачевым бьет по Астахову — известному погромщику во времена всех идеологических кампаний. Помню язвительную фразу из эссе Лифшица: «Проверим сигналы товарища Астахова!» Эссе подытоживала перефразировка статьи Грибачева: «Коза совсем не на привязи».

Вторая причина того, что вначале речь шла у нас об эссе Михаила Александровича, связанном с именем Астахова, заключается в уверенности комментатора в том, что эти два эссе не случайно были прочитаны вместе. Как мне представляется, они сопрягаются по смыслу: Астахов — один из прототипов образа Гвоздили-на из «Разговора с чертом».

Но вернемся к этому «Разговору». Он начинается со сцены в букинистическом магазине, в которой, роясь в пыли книжного магазина, автор услышал за спиной чей-то голос:

— Нет ли у вас Бердяева?

«Я обернулся и увидел молодого человека в том нежном возрасте, когда усы едва пробиваются над верхней губой», — читаем мы в публикуемом фрагменте. Дело происходило, как помнится, в Ленинграде поздней осенью 1944 года. Мне было 15 лет. Я писал стихи. Моим литературным наставником был крупнейший специалист по творчеству Александра Блока Д. Е. Максимов. И вот однажды Максимов, послушав мои стихи, сказал, что мне нужно обязательно прочесть «Закат Европы» Шпенглера. Серьезно восприняв этот совет, я, входя в каждый букинистический магазин (а их было много в послеблокадном Ленинграде), задавал во-

прос: «Нет ли у Вас книги Шпенглера “Закат Европы”?» Книга была очень редкая, 1923 года издания, на русском языке.

Продавцы констатировали факт отсутствия этой книги, не очень удивляясь экзотическому интересу юноши, так как сами вряд ли знали, кто такой Шпенглер. Но как-то в небольшом полуподвальном магазинчике на Невском, когда я задал вопрос о «Закате Европы», один мужчина спросил меня: «А зачем нужна Вам эта дрянь?» Я ему ничего не ответил, но посмотрел на него так, что он хорошо запомнил этот взгляд. Как смел какой-то незнакомец назвать дрянью то, что мне рекомендовал сам Дмитрий Евгеньевич¹ для развития моего поэтического дарования! Потом смутно помню, как этот незнакомец (кажется, он был в военно-морской форме) о чем-то меня вполне приветливо спрашивал... Через три года, когда я учился в 1947—1952 годах на философском факультете Ленинградского университета, носившего имя Жданова, мне пять лет внушали, что Шпенглер — это дрянь. Правда, я уже тогда читал «Вопросы философии и искусства» Мих. Лифшица.

С первого курса увлеченный тогда еще мало кому известной «эстетикой» (с 1937-го по 1953 год в СССР не вышло ни одной книги по эстетике), я начал серьезно интересоваться трудами М. А. Лифшица, впервые наиболее полно представившего по первоисточникам эстетические воззрения основоположников марксизма, опубликовавшего важнейшие фрагменты из неизвестных тогда в Советском Союзе экономических и философских рукописей Маркса, на основе которых я пытался разработать так называемую общественную концепцию эстетического, вызвавшую с середины 1950-х годов широкую дискуссию и разоблачительные статьи И Астахова, Я. Эльсберга, В. Разумного и т. п.² Все это вызывало у меня желание лично познакомиться с Михаилом Александровичем. Я не помню сейчас конкретных обстоятельств нашего знакомства в конце 1950-х годов. Возможно, это было на каком-то заседании сектора эстетики Института философии. Мы встречались в Москве, и не только на разных собраниях, но и в его квартире, а также переписывались (в моем архиве хранится около 30 его писем и открыток³).

К моей концепции эстетического, инспирированной также и его трудами, показавшими связь «отношения Маркса к вопросу об эстетической ценности» с критикой «грубого натурализма, принимающего человеческое за вещественное и обратно»⁴, Михаил Александрович отнесся благосклонно, тем более что ее оголтелые критики были ему глубоко неприязненны своим теоретическим невежеством в сочетании с идеологически-доносительной воинственностью. В. Разумному он воздал по заслугам в своей известной статье «В мире эстетики»⁵. И. Астахов стал «героем» его эссе, о котором шла речь вначале. Я. Эльсберг, профессиональный доносчик и провокатор, услужливый и

¹ Небезынтересно отметить, что Д. Е. Максимов, наряду с Л. Гинзбург, Д. Лихачевым, Л. Рахмановым, подписал текст «Осторожно — искусство!» (см. «Литературная газета». 15.02.1967), направленный против статьи М. А. Лифшица «Почему я не модернист?».

² О дискуссии по проблемам сущности эстетического отношения см. очерк пишущего эти строки «Начало дискуссии об эстетическом. Исповедь “общественника”» (см. **Л. Столович**. Философия. Эстетика. Смех. СПб.; Тарту, 1999. С. 109—178).

³ После кончины Михаила Александровича я переслал в его архив микрофильм с этими письмами. В настоящее время их оригиналы находятся вместе с моим архивом в Библиотеке Стэнфордского университета в США, при том что некоторые из них сохранены в копии в моем компьютере.

⁴ **Мих. Лифшиц**. Вопросы искусства и философии. М., 1935. С. 255.

⁵ См. «Новый мир». 1964. № 2.

инициативный исполнитель указаний идеологического начальства, был ему особенно противен.

Когда Эльсберг набросился на меня своей статьей «Схоластические концепции»⁶, я получил возможность ему ответить. Свою ответную статью перед публикаций я дал прочитать Михаилу Александровичу. Он написал в письме ко мне от 15 марта 1961 года подробный отзыв о моей полемической статье против Эльсберга, которая под названием «О двух концепциях эстетического» затем появилась в «Вопросах философии»⁷. Это большое письмо Михаила Александровича (6 плотных страниц!) — прекрасный мастер-класс полемического искусства.

В 1960 году он приезжал в Эстонию и был моим гостем. На своей книге «Вопросы философии и искусства», изданной в 1935 году, он надписал: «Дорогому Леониду Наумовичу Столовичу от некогда молодого автора». Я был преисполнен огромного уважения к Михаилу Александровичу, который обладал громадными знаниями, необычайным остроумием и был блестящим стилистом. Я, стремившийся в те годы освоить марксистскую методологию, очень ценил независимость марксистского миропонимания Лифшица от власти имущей «марксистско-ленинской идеологии», хотя и Ленина он высоко ценил как марксиста. Ему принадлежит ныне малоизвестная и ставшая большой библиографической редкостью книга-антология «Ленин о культуре и искусстве» (М., 1938). Лифшиц не жаловал начальство, как и оно его.

Во время пребывания Михаила Александровича в Тарту мы оба вспомнили тот четырнадцатилетней давности эпизод нашей случайной встречи в ленинградском книжном магазине⁸. Теперь я понял, почему он назвал книгу Шпенглера, вызвавшую настоящий интеллектуальный шок в свое время, «дрянью». В отличие от других полуграмотных «марксистов-ленинцев», которых Лифшиц презирал, он-то читал Шпенглера. Читал и принципиально не принял, как отвергал и так называемое модернистское искусство, хотя сам Шпенглер не жаловал современное ему искусство, которое он, кстати, называл «модернистским».

Но в «Разговоре с чертом» Бердяев, заменивший Шпенглера, дрянью не назван, хотя его характеристику тоже нельзя назвать лестной. М. А. Лифшиц мучительно ищет ответ на вопрос, что следовало сказать молодому человеку, и этот поиск, отражающий мучительные сомнения и переживания его в тот период, — самое интересное, на мой взгляд, в «Разговоре с чертом». Кажется, что автор находит решение этой загадки: кто так искривил и замутил сознание юного человека? Это Гвоздилин (отчетливо помню, что этот персонаж при чтении эссе самим автором назывался «товарищем Молотковым». Разница, наверно, в том, что Молотков «забывает» Гвоздилина, а Гвоздилин «забывается» Молотковым. Значит, Гвоздилин предполагает Молоткова). Но что же делать, если Гвоздилин своими разоблачениями Бердяева только вербует ему сторонников? Более того, дело может дойти до того, что молодой человек, испорченный Гвоздилиным, страшно сказать, «расширяет марксизм до Бердяева включительно, клянется Пикассо».

Как же поступать автору эссе, который тоже не жалуется Бердяева, но понимает «объективную верность и обаяние марксистского мировоззрения даже вопреки Гвоздилину»? Выход в данном случае только один: «мне надобно прежде всего от-

⁶ См. «Вопросы философии». 1961. № 1.

⁷ См. «Вопросы философии». 1962. № 2.

⁸ Об этом эпизоде я написал в своей книге. См. **Л. Столович**. Стихи и жизнь. Опыт поэтической автобиографии. Таллин, 2003. С. 75—77.

межеваться от Гвоздилина. Другого пути нет». Но как сделать так, чтобы не возникло впечатления, что ты не «хочешь сесть между двух стульев»?

Могу свидетельствовать, что эта проблема для М. А. Лифшица в это время была далеко не абстрактной. Он буквально страдал от того, что его честная и искренняя борьба с модернизмом вызывала симпатии у тех, кому он не желал и руки подать. В его архиве находится открытка, полученная им в 1964 году от... Астахова: «Уважаемый Михаил Александрович! В дни великого Октября желаю Вам крепко пожать эстетическую руку и пожелать от всей души новых творческих успехов. Большой привет! Астахов». Михаил Александрович приписал: «Это сукин сын, который в 1949 году говорил с трибуны, что я “вырос в троцкистском подполье”, “проповедовал мутную, грязную, подлую философию” и являюсь “идеологом декадентства”». Мне лично Михаил Александрович показывал эту открытку и говорил подобные слова.

Вот почему он в свое эссе ввел образ Гвоздилина, от которого необходимо было отмежеваться! Вот почему другое, не дошедшее до нас эссе было посвящено Астахову, который продолжал ушкуйничать и позорить марксизм своей приверженностью к нему!

В задачу этого документального комментария не входит детальный анализ публикуемого фрагмента. Он очень не прост. Черт — это не только Гвоздин, пригрезившийся в дремоте человеку, утомленному попыткой решения кантовских вопросов: «Что я могу знать, что я должен делать, на что я могу надеяться?» и русского вопроса: «Что же все-таки делать?» Опыт мировой литературы показывает, что разговор с чертом — это в то же время в какой-то мере разговор и с самим собой, борьба со своим отчуждением. В этом отношении эссе М. А. Лифшица — ценный документ его духовного состояния в середине 1960-х годов.

«Достоевского на вас нет!»

Спор Мих. Лифшица с советской интеллигенцией
в свете митингов «За честные выборы!»

В 1966 году Мих. Лифшиц обратился с прямой речью к интеллигенции, опубликовав в «Литературной газете» эссе «Почему я не модернист?», чтобы дать ей шанс, как тому молодому человеку, с которым ведет разговор в начале своего памфлета, избежать власти над собой всякой чертовщины. К сожалению, он проиграл, к сожалению — не столько для Мих. Лифшица и его литературной судьбы, сколько для либеральной интеллигенции.

За несколько месяцев до своей кончины, летом 1983 года, предчувствуя близкую перестройку, Мих. Лифшиц, делая наброски статьи о Ленине и нэпе, сформулировал главную проблему так: если экономический союз с Западом неизбежен, то вопрос в том, будет ли заключен *союз основного производительного населения страны с Западом против отечественного бандита и мародера-чиновника, или же состоится союз воров и бюрократии с Западом против основного производительного населения страны?*

Ответ на этот вопрос после 1991 года очевиден. Гвоздилин снова оказался наверху. Либеральная интеллигенция вновь наступила на грабли, но не на те, о которых предупреждал Ю. Карякин (между прочим, подаривший Лифшицу свои статьи о Достоевском с дарственной надписью: «С восхищением перед Вашим талантом»). Чертово отрицание погрузило духовную элиту наших дней во всю ту дрянь, в которой барахтался «подпольный человек» Достоевского. Истина, гласящая, что истины нет, а социальная справедливость — это байки для дураков, рынок все отрегулирует, быдло пусть подыхает, а дети воров и бандитов со временем станут спасителями отечества, — вот идеология «демшизы», за наивными головами которой угадывается глумливая физиономия Гвоздилина. Без него разве свершилось бы то, что и присниться не могло толпе, свергавшей памятник Дзержинскому: еще несколько лет «демократии» — и власть Лубянки над страной окажется абсолютной? Если «пахан» драконовскими методами еще как-то урезонивал «слуг народа», то ныне их власть ограничена разве только их собственными аппетитами. Вчерашнего сладкоречивого либерала сменил, как это и предсказывал Лифшиц, проповедник идеи «либерального империализма» (разумеется, предполагающего, как и всякий империализм, расстрелы «быдла», эхо которых — символический привет и предупреждение из «братского» Казахстана).

Если мы хотим действительной, а не показной, свободы слова (справедливо именуемой «репрессивной терпимостью»), главное — чтобы Гвоздилин в его либеральном или черносотенном облике утратил возможность подтасовки, воз-

АРСЛАНОВ Виктор Григорьевич — ведущий научный сотрудник НИИ Российской академии художеств, профессор, доктор искусствоведения.

возможность негласного управления сознанием и поведением. Что для этого нужно? Для начала — отделить гражданский вопрос от идейного, доказывал Лифшиц. А это значит — создание гражданского единства всех, кто против подтасовок (на выборах или в идейном споре). Вот главная идея опубликованной в 1968 году статьи Мих. Лифшица «Либерализм и демократия»¹, отторгнутая советской либеральной интеллигенцией. Сегодня эта мысль звучит на митингах, собирающих десятки тысяч людей, а именно: мы разные, левые и правые, но давайте сначала создадим условия для честного диалога, сбросим власть манипуляторов и подтасовщиков, а затем будем в товарищеской дискуссии решать наши вопросы.

Власть манипуляторов в наши дни столь же велика, как и полвека назад. Что, например, пишет о Лифшице гуманитарная наука? Авторы «Истории эстетики» заявляют: журнал «Литературный критик» (духовным лидером которого был Мих. Лифшиц) действовал в соответствии с духом «партийной политики, направленной на внедрение социалистического реализма во все сферы художественной жизни»². И это о журнале, который «мужественно и безнадежно», по словам Ю. Буртина, написанным в 1987 году, противостоял иллюстративной литературе (в журнале высмеивались романы о доблестных сотрудниках НКВД и повести, учившие детей подглядывать за родителями в замочные скважины), защищавшем А. Платонова и репрессированного поэта П. Васильева, отказавшего в праве называться поэзией опусам А. Жарова, А. Безыменского, М. Голодного...

Конечно, технология современных Гвоздилиных не представляет собой специфически российское ноу-хау. Когда обворованные и обманутые начинают поднимать голову, то, увы, как правило, попадают в мышеловку «ложного протеста». Луддиты XIX века разрушали машины, которые из них выжимали пот. Участников современных протестных движений соблазняют «революционным» разрушением витрин супермаркетов, поджогами и переворачиванием автомобилей, внушая «культ силы, радость уничтожения, любовь к жестокости» и одновременно — жажду «бездумной жизни, слепого повиновения»³.

Но странным образом иногда вдруг обнаруживается, что как раз те, кто владеет искусством ловить лохов, — играют в игру, не ими придуманную. Куда им со своим конечным изворотливым «умишком» против разума бесконечного бытия (на который надейся, но сам не плошай)!

Хотя черт, конечно, умный, но ум у него дурак (слова, приписываемые Ленину). В своих расчетах он не принимает во внимание *imponderabilia*⁴. Без идеального — невесомой величины, человеческое умирает в человеке. Больше того, и «реальные политики», подчеркивает в своих заметках о нэпе Мих. Лифшиц, не учитывающие «невесомых величин» и сил, тоже нередко оказываются с носом. В чем же тогда секрет власти чертовщины?

Лифшиц в полемике против вульгарного марксизма и других проявлений «пошлости веков» берет себе в союзники Достоевского. Нас приучили видеть писателя через призму изображенного им «подпольного сознания». Но поскольку

¹ «Отсюда вывод — непримиримый ко всякому идеалистическому мировоззрению последователь марксистского атеизма обязан искать союза с христианами, язычниками, мусульманами, последователями Фомы Аквинского или философа Кьеркегора, лишь бы это был союз для действительной борьбы против оплота всякой реакции, в том числе и духовной» (Мих. Лифшиц. Либерализм и демократия. Философские памфлеты. М., 2007. С. 319).

² «История эстетики». СПб., 2011. С. 593.

³ Мих. Лифшиц. Почему я не модернист? Философия. Эстетика. Художественная критика. М., 2009. С. 40—41.

⁴ Невесомая величина (*лат.*).

Достоевский действительно изобразил «подпольного человека», то он дал и критику его: этому бунтарю, оказывается, «ничего не нужно, кроме спокойствия да чаю», пишет в заметках о Достоевском Лифшиц (В. Розанов заголился, ернически повторяя эту максиму человека «из подполья» и с удовольствием присоединяясь к ней). Современное «социальное государство» — будь то «шведский» или брежневский социализм, при всей разнице между ними, — не может создать условий для свободы, ибо оно свое добро вынуждено навязывать, навязанное же «сверху» добро, исключаящее самодеятельность людей, рождает сатанинский протест против истины, добра и красоты (вспомним недавние и вроде бы немотивированные погромы магазинов Лондона, в которых участвовали и дети из благополучных, богатых семей). Обратная сторона анархического бунта — обывательский эгоизм. Вот открытие Достоевского. Тогда как коммунизм Маркса и Ленина отличается от псевдосоциализма тем, что это общество, где добро не вызывает отталкивания, писал Лифшиц.

В иррациональном бунте человек ведется на поводу экономической необходимости мира не-свободы. Это — «вторичное порабощение», подчеркивает Лифшиц. И оно, вроде бы чисто идеологическое, становится в современном мире главным звеном экономической зависимости и от «общества всеобщего благоденствия», и от псевдосоциализма.

Таков бунт российской интеллигенции во второй половине XX века — как либеральной, так и почвеннической. Продукт этого бунта — власть «воров и кровопийц». Без осознания этого факта во всем его всемирно-историческом объеме клубок нашей истории не будет разматываться.

Когда и где люди выйдут на улицы, все, без различия убеждений, все те, кто рассчитывает не на грабеж других, а на свой труд, требуя честных выборов, Лифшиц сказать не мог. «Должно ли это быть? Да, это должно быть!» Глубокие, сильно трогаящие душу слова. Это слова Бетховена, он написал их на партитуре одного из своих последних произведений — так заканчивается памфлет Мих. Лифшица «Либерализм и демократия»⁵.

Сможет ли наше общество на этот раз разорвать порочный круг? Шансы есть у того, кто способен учиться на ошибках прошлого. ◆

⁵ См. Мих. Лифшиц. Либерализм и демократия. Философские памфлеты. С. 326.